

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 140, 145

Небо вырежу на парус

Смирнов встал, придвинулся, наклонил полотняно-белую от свирепости личину над моим лицом.

– Ишь, развел демагогию. Давай, подписывай. Смотри.... Мы сумеем посчитаться с тобой. Выбросим из института со свистом.

– Не подпишу. Громадной одаренности поэт Виктор Гончаров, вы ему всего лишь двести рублей. Григорий Хейфец – оригинальный поэт, – он вообще отсутствует в списке, а он ведь фронтовик, Александр Шабалин – тоже...

– Стихи Гончарова и Хейфеца, напечатанные в журнале «Знамя», раскритиковала за пессимизм «Комсомольская правда», – прервал меня Смирнов. – Они тянут в разочарование.

– «Комсомолка» ошиблась. Для нее элементарная грусть идеологически порочна.

– У Гончарова высокохудожественные стихотворения. Но в зачатке одного из них слякотное настроение. Фронтовик, чудовищные ранения перенес... Вместо мужества – слюни. Как там у него?

– Ветер слезно с кем-то спорит.

Даль туманами покрыта.

Завтра в море, завтра в море

Отплывет мое корыто.

– В первой строке «слезно»... Тон упаднический. Дальше помнишь:

Утлое, подбито бурей,

скромно дышит на причале.

В нем давно мечты уснули,

В нем давно одни печали.

– Занижение действительности...

«Мечты уснули» – порочно. Безнадежность низменного порядка. «Одни печали» – неправда. Не бывает человека, который находится в постоянном состоянии, тем паче – удушливого пессимизма!

– Но у Гончарова не совсем так:

Это ничего не значит

Перед всей пространной далью:

Я на нем большую мачту

Из мечты своей поставлю.

Небо вырежу на парус,

Месяц будет лучший якорь.

Ничего, что так пришлось,

Ничего, что ветер плакал.

Леонов одобрил

мой протест

– То «мечты уснули», то мачту поставит из мечты. Серьеза нет. Успокоение отнюдь не выручает: «Ничего, что так пришлось»... Вне логики.

– Хорошо! Логика и рацию гудят поэзию.

– Успокоением не удалось Гончарову смыть пессимизм.

– И незачем ему смывать пессимизм. Произошла перемена чувства. Ваш, кстати, роман, Василий Александрович, «Открытие мира», по-моему, начинается куда пессимистичнее: «Мамка, я повою»...

– Сравнил... «Слезно» у Гончарова – от война, по существу, от фронтовика... У меня – от мальчишки.

– А за мальчишкой просматривается вы.

– Субъективный подход. Неужто и за Хейфеца будешь заступаться? Как у него там: «Все потому, что я поэт...» Дальше?

– «Все потому, что я поэт, а остальные – люди».

– Посмел Григорий противопоставить себя людям. Заносчивость умеренная. Индивидуализм.



Писатель Константин Паустовский был среди тех, кто поддержал автора этих строк

– Выделил себя из людей. Поэт Хейфец не индивидуалист, а индивидуальность.

– Слышом много на себя берешь. Слушай, Воронов, давай, подписывай – и вали на занятия.

– Не подпишу.

Я подался из кабинета, да задержался возле дверей. Мимо пролетел комсорг Иван Завалий. Он быстро прочитал литфондовскую бумагу, подписал там, куда указывал Фатеев.

Только что началась перемена. Я помчался по коридору, чтобы мигом на третий этаж, где тогда находился Литфонд СССР. Галя, секретарша Леонида Максимовича Леонова, ревностно отнеслась к моей просьбе повидать председателя, и сразу, без доклада, завела меня к нему. Перед Леоновым я преклонялся. Роман «Барсуки» был для меня по музыке стиля симфоничным и таким живописным по красочности авторской и народной речи, по деревенским характерам, как это бывало лишь у Тургенева, Льва Толстого, Лескова. Читая «Тихий Дон» Шолохова, я угадывал в построениях предложений, пейзажах, заглавных типах мужиков влияние, насыщенное классической единообразием «Барсуков». Мой восторг перед Леонидом Леоновым укреплялся его отцом Максимом Горемыкой, крестьянином-самоучкой, восприимчивым-стихотворцем народных поэтов Кольцова, Никитина, Сурикова. Если Леонид Максимович не согласится с основательным пересмотром списка, я напомию ему слова отца, обращенные к его матери: «Пред богачом не гнулись мы. Пред сильным света не склонялись».

Убеждать Леонова не потребовалось. Он одобрил мой протест.

За одной партией с Чеховым

На втором этаже, около аудитории второго курса, на котором я учился, топталась кучка студентов: мой товарищ Анатолий Чехов, сидели за одной партией, уже тогда зачинатель детективных романов о пограничниках, поэт из Сибири Спартак Куликов, кудлатый, широкая голова на тонкой шее, заметное плечист при худобе, летный технар, бедолага, собиравшийся жениться на испанисто-жгучей кудрявой девушке Лидии, которая жила в кирпичной двухэтажке на канале неподалеку от угрюмо-мгистого Дома Правительства. Изнуренного жизнью Спартака, он не имел аттестата зрелости и должен был сдавать за десятилетку экстерном, принял в институт без экзаменов и.о. директора Сидорин Василий Семенович. Рядом с ними топтался осетин из Орджоникидзе (Орджоникидзе) Сабаев, бедолага, подобный Куликову, но, в отличие от него не выказывавший своей материальной обездоленности. Будучи казначеем парткома, Сабаев не зарился даже на полтинник, когда не на что было купить кирпичик хлеба и крючок ливерной колбасы. Среди них стоял, закрыв глаза, поэт Федор Сухов, фронтовик, лейтенант запаса, горьковчанин, где мог, он подремывал или спал. Подле стены, прислонясь к ней мускулистыми лопатками, замер, могучие руки вперекрест, – поэт Владимир Семенов, родом из Касимова, богатырь, точно его земляк Илья Муромец.

Семенов отличался спокойствием и выжидательностью, чтобы в нужный момент подкрепить справедливую сторону. Желтело заклеенное изнутри папиросной бумагой стеклянное очко его «консервов», а другое глухо поблескивало. Мелкими осколками фашистской мины поранило Володины глаза, не все их извлекли. В момент ранения он находился в березовой роще и потом часами плутал по ней, которая чудилась ему алой. В общежитской комнате Герценовского флигеля, она примыкала к стене квартиры профессора Леонида Тимофеева, мы спали с Володей голова к голове. Он мечтал о койке возле двери, и лишь только прозаик из Коврова Сергей Никитин перевелся на заочное отделение, захватил эту койку, дабы ночами, в бессонницу, потихоньку выходить во двор.

Едва меня окружили студенты и я стал им объяснять, что случилось, ко мне прорвался морячок Иван Ганабин (с ним мы сочинили стихи «На смерть Жданова») и схватил за грудки, приговаривая: «Зачем подписал, почему подписал, Завалий не подписал, а ты подписал?» Со спины Семенов ухватил Ганабина за запястье, могучим нажимом, со словами: «Не трожь Колю» заставил выпустить из горстей воротник моей выцветшей до сизоты суконной тужурки.

– Кто тебе сказал?! – заорал я в лицо Ганабина, светло золотившееся усиками.

– Завалий, – сипло, из-за того, что опрокудился, произнес он.

Уральское слово

«обдергай»

Я кинулся по коридору туда, где у перил лестницы мы дымили в перерыв. Там, среди курильщиков, вертелся юзом комсорг Завалий. Я врзал ему пощечину, да так, что до вечера горела ладонь. И, обращаясь ко всем курильщикам, изобличил Завалия: клеветник перекинул на меня свою подлость!

Восемь лет подряд, с довоенной поры, Завалий был боцманом на военном флоте. Он хвалился, что пинками наводил на корабле дисциплину.

Я владел техникой, спасающей от пинков: удар в подколенье, и противник запрокидывается на спину. Моя правая нога невольно изогнулась, но у Ивана кровь выступила из ноздрей, он приткнул к ним платочек и скрылся в умывальник. Я запомнил удивленные до веселости глаза курык, которых ценил за победные заслуги: умыто-чистосердечного Юрия Бондарева; пристального Григория Фризмана; горделивого от сознания своего безотказного таланта Владимира Солоухина («Старик, а как мне быть с душой, моей не так уж и большой»); хитрована Михаила Годенки; простодуш-

Малость облегчив существование восходящего поколения писателей, я получил месть автократов

новозорого Александра Шабалина, – и ютившуюся среди них добродейку Лелю Берман, возле уха которой кудрявился дымок «казбечины» («У Лелеси Берманайте что хотите, занимайте. У Лелеси закрома денег, водки и ума»).

Вечером Фатеев прислал за мной в общежитие сторожа Тарасыча. Какой-то наушник напел директору, будто бы мы с Завалием подрались. Он почему-то страшился свары между студентами. Я сказал, что ни свары, ни драки не было: просто Завалий полу-

чил пощечину за клевету. Уточнять он не стал и предложил с учетом списка на вспомоществование сделать дополнение. Похоже, ему понравилось уральское слово «обдергай», и он, алчно потирая пальцами, посоветовал никого не забыть из обдергаев и не обделить их посильным получением, убавляя денежки у богачей.

Наверняка и после меня список обкатывался. Никто из обдергаев не ущемился и не подходил ко мне с нареканиями, а за мою непокорность во имя сглаживания нужды российских молодых писателей Петр Фатеев и Василий Смирнов, они оставались при своих чинах, посчитались со мной. Их попытка перенести защиту моей повести «Испытание на прочность» с 1952 на 1953 год опрокудилась. Я не согласился на это, хотя обстоятельства осложнились для меня: Валентин Катаев, мой дипломный руководитель, исчез – ни в Москве, ни в Переделкине его нет, и никому не известно, где он, даже самой Эстер Давыдовне, его супруге. Испарился и прозаик Юрий Лебединский, который взял на рецензию повесть, явно с соответствующими рекомендациями.

Нес и несу в себе бескорыстие

Я вынужден был поехать к нему на дачу, его жена, не зная, подобно Эстер Давыдовне, где он, лобезно предложила посмотреть листочек, заложенный в пишущую машинку, и я обнаружил на том листочке чудовищную фразу: «Никогда я не читал такой очернительской повести». Я уже подозревал, в какой нежданно-негаданный мир вломился, но все же неведома была мне последняя его кощунственность. Это происходило днем предстоящей защиты, как назло палящим.

К счастью, меня поддержали писатели: Константин Паустовский, он заведовал кафедрой творчества; Николай Замошкин, первый заместитель главного редактора журнала «Октябрь», Всеволод Иванов, председатель государственной комиссии литинститута; Валентин Асмус, профессор философии и логики, лауреат Сталинской премии 1943 года за участие в труде по истории философии (в 1948 году идеологи ЦК ВКП(Б) через своих оборотней от науки пытались лишить Валентина Фердинандовича этой премии); Николай Евдокимов, выпускник семинара Леонида Леонова, автор книги батальных рассказов «Конечные ночи», резко, однако неправомерно критикованный по изданию этой книги, он написал положительную рецензию на повесть «Испытание на прочность».

Поддержали мой диплом и собрались студенты из фронтовиков: Борис Бедный, Леонид Кривошеков, Григорий Тимченко, Григорий Хейфец (Куренев), Анатолий Чехов.

И я защитился.

Ну, что, содомствующее чрево, какую выгоду я получил? Малость облегчив существование восходящего поколения писателей, я получил месть автократов. Вместе с тем я отдаю себе отчет в том, что пополнил сокровищницу справедливости противостоянием русской заботы политической узурпации, построенной на подхалимаже верховным инациональным властям, кто орудовал палачески в Кремле. Я нес и несу в себе нерасчетливость и бескорыстие моего народа, которые сложились в тысячелетиях.

Продолжение следует

> Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило. Иммануил КАНТ